

Наталья Гандзюк

Подкидыш или Несколько дней лета



Наталья Гандзюк

**Подкидыш, или
Несколько дней лета**

«ЛитРес: Самиздат»

2017

Гандзюк Н. И.

Подкидыш, или Несколько дней лета / Н. И. Гандзюк — «ЛитРес: Самиздат», 2017

Его проиграли в карты и выбросили в окно поезда. Герой повести оказывается в деревне Малаховка, где он пытается вспомнить своё прошлое, и часть за частью, картинки прошлого начинают складываться в единое полотно. Он знакомится с жителями деревни, которые со временем становятся ему родными. Мир деревни, фантастичный, сказочный, переполненный, заставляет героя заново посмотреть на свою прожитую жизнь, переосмыслить многое, вспомнить о чём-то таком, о чём бы он никогда не вспомнил раньше, до того... Город маячит на горизонте. Ждёт ли он Андрея, переименованного в Фёдора?

© Гандзюк Н. И., 2017

© ЛитРес: Самиздат, 2017

Его проиграли в карты и выбросили из окна поезда.

Дети тоже играют, и их игры серьёзны. Их шапки становятся сумками, пупсы – детьми, а сами они – папами, мамами, невестами, женихами, продавцами, искателями кладов, ловцами кошек, кровителями пчёл, врачами, волшебниками... Они делают крыс из травы, привязывают их к лескам, и затаившись в засаде, пускают их через пешеходные дорожки. Они делятся на казаков и разбойников. Казаки убегают от разбойников, оставляя за собой стрелочки мелом, в чужие, летние, бесконечно далёкие дворы.

Игры собирающихся по пятницам взрослых мужчин тоже были разнообразны. Они ехали в аэропорт и покупали билеты на ближайший рейс в любой город, где они ещё не были. Возвращались всегда в воскресенье вечером, обновлённые, пахнущие воздухом иных широт. Они посещали бани, клубы, публичные дома, любили вкусно поесть и выпить. Всё что можно было взять напрокат, они брали напрокат – мотоциклы, лошадей, женщин, воздушные шары...

Зачем они решили поехать к морю на целую неделю? Зачем купили билеты на поезд? И чего они не полетели? В поезд они взяли пива и к пиву. Где-то на середине дороги вынули карты... Ставки росли, и к всеобщей радости и нарастающему возбуждению, кто-то придумал выбросить проигравшего из окна скорого. Его звали Андрей Никитин. В тот момент он ещё помнил своё имя, возраст, национальность, семейное положение, профессию и всё остальное. Была ночь. Лил тёплый летний дождь. Из настежь раскрытого окна затормозившего поезда вывалился человек и покатился по откосу вниз, в ложбину, а поезд, сотрясаясь стуком и пьяным смехом, исчез.

Бывает прохладное лето с дождями, сочной зеленью и бархатной землёй. Воздух промыт и пропитан букетами ароматов. Часто такое начало лета сменяется испепеляющей жарой, но пока... серебряные дожди крупным и мелким сеяньем орошали, питали и радовали. В деревнях развезло дороги. Утки и гуси, пробираясь к озеру, тонули в грязи. Ноги и животы коров и коз были в тёмной глазури, будто их макнули в шоколад. А в городах... но о городе позже.

Первым, что увидел Андрей очнувшись, было небо. Облака светились так ярко! От света болели глаза. Листва над головой блестела. Каждый лист, отшлифованный дождем, тоже сверкал. Трава вокруг сплошь была покрыта каплями. Они переливались, и от этого тоже было больно. Сильно болела голова, может от звуков? Земля гудела и сотрясалась. Было слышно, как возятся и ползают жуки. Птичье пение наполняло ужасом. Он слышал, как растёт трава, а когда опять пошёл дождь, падение капель и столкновение их с землёй наполнило его таким грохотом, что он плотно закрыл уши ладонями, но звуки вползали в щели между ушами и пальцами. Каждый цветок, каждая травинка излучали слабый свет. Воздух тоже переливался. Из его рук лучи тоже выпархивали, как маленькие птички, в такт бьющейся крови. Захотелось в темноту. Он попытался встать, но не смог. Тогда он перевернулся на четвереньки и пополз в сторону леса. Временами выходило солнце, и он терял зрение от яркости его. Под лапами елей он опять лёг и попытался думать, но думать не получилось. Нарастающий рёв проходящего мимо поезда поверг его в ещё большее недоумение, и он уполз ещё глубже, в лесную густоту.

– Кузьмич! Кузьмич! Дома ты?

– Дома. Как раз завтракать собираюсь.

На летней веранде маленького хутора кипел чайник, и жарилась яичница. Чуть дальше, минуя прихожую, в небольшой комнате, залитой утренним солнцем, стоял добротный стол, застеленный клеёнкой, и несколько стульев. Возле стенки, завешенной гобеленом с оленями, покоилась старая железная кровать с набалдашниками. Хлеб был уже нарезан, и на белоснежной тарелке звенел зелёными перьями только что сорванный лук.

– Сейчас чай заварю, – Иван Кузьмич, пожилой седовласый мужчина среднего роста, с умным ироничным взглядом, небольшим пузиком, чуть торчавшим под светлым жилетом, в светлой шляпе, неторопливый, обстоятельный, был очень рад визиту друга. Тот заходил нечасто. По возрасту ровесник Кузьмича, но внешность у него была незначительная. Он был мел-

коват, худощав, горбился, как будто прятал что-то в грудной клетке или под шеей, но зато волос у него было много, и они всё не седели.

– Да, Семёныч, – шутил Иван Кузьмич, – так и останешься ты юношей. Юношей и помрёшь.

– Не торопи, успею повзрослеть, всё будет. А где Надежда Васильевна?

– Чуть свет в огороде топчется. Мужу ласка нужна, внимание, а он на грядках.

– Как здоровье, как хозяйство?

– Семёныч, давай кушать, потом о здоровье.

На мгновение за столом воцарилась тишина. Слышно было только тиканье часов, звон вилок, цепляющих яичницу, хруст зелёных луковых перьев, пережёвывание, скрипы сочленений челюстей, встреча зубов и шмыганье носов от разогрева и довольства. Запивали яичницу сладким чаем с белым хлебом. Корки размачивались и аккуратно рассасывались, и казалось, этот праздничный завтрак длится уже очень давно...

– Ну, а как дети твои? Кто приедет летом-то?

– Не знаю, Семёныч, может кто и доедет. Взрослые они уже. У каждого – своя жизнь.

– Это хорошо.

– Хорошо! Вырос – долой из гнезда! Ищи себе сам пропитание. Светка что-то не звонит давно, видимо у неё всё в порядке. Антон недавно приехал дня на два.

– Слушай, а я что-то не помню, внуки у тебя есть?

– Нет пока. Слушай, Семёныч, ты козу мою можешь зарезать? Вчера мокрой травы наелась и раздуло её. Ничего не помогает, в сарае лежит. Так пока не померла – зарежешь?

– Само собой, Кузьмич. А вот ты скажи, если бы тебе Бог сына ещё одного послал, в твоих-то годах...

– Семёныч! Да неужто Клавка брюхата? – последовал долгий раскатистый смех. Да как ты на неё влез-то? Располнела же баба! Ну, брат ты молодец, библейский ты человек, ветхозаветный!

– Подожди, Кузьмич, не о том я... Тут такое дело... Нам одного хлопца некуда девать. На вид лет тридцать с гаком, как твоему Антону. Приполз в деревню на четвереньках, откуда – непонятно, как с неба свалился. Не помнит он ничего... Папироса есть у тебя? Ни откуда родом, ни имени, ни отца с матерью. Зашибся видно, бывает такое, слышал. Говорят, со временем, вернётся память, восстановится, а пока приютить надо. К себе взять не можем – у нас полный комплект, некуда брать. А вы всё равно одни. Может, возьмёте? На время, покуда память не вернётся? Он вроде на вид парень здоровый. По хозяйству поможет.

– Стёпа! Да как же так! Человек же не котёнок. Это котят подкидывают. А парня надо отправить туда, откуда пришёл.

– Из леса он пришёл. Что, в лес отправлять?

– А вдруг он совершил чего? Преступление... убил кого, и притворяется, что не помнит. Прибьёт нас с Надюхой и всё.

– Может он чего и совершил, так что, на улице теперь ему жить? Ты хотя бы на него посмотри!

– Ох, Стёпа, что с того, что посмотрю? Где он?

– Да здесь, за забором сидит, на лавке твоей.

– Больше некуда было вести?

– Да мы с Клавкой перебрали всех. Никто не может взять, кроме вас. А хлопец видный, только что-то с головой у него приключилось, и ничего при нём нет, ни документов, ни денег, ни карточек каких, ни телефона. Гол, как сокол.

Мужчины вышли во двор, поросший густым спорышом. Дом у Веденских был маленький, но аккуратный, выкрашенный свежей известью после зимы, крытый яркой рыжей черепицей. По двору гуляли куры разной масти. На яблоне у входа висел рукомойник, и там же к

стволу прислонилось маленькое зеркало. Дом обрамляли сараюшки, где обитала разная живность, росли груши, несколько яблонь, сливы, вишни. Кусты крыжовника и смородины начинали стройные ряды ягод и овощей. На них равнялись морковь, лук, перцы, огурцы, чеснок, помидоры и другие обитатели грядки. Был ещё один огород, побольше, над которым ни свет, ни заря уже склонилась Надежда Васильевна, палимая солнцем и поливаемая дождём. Андрей сидел на лавке за забором в густой липовой тени. Глаза у него были прикрыты.

– Ну, прям Иисусик! Господи, прости! Кузьмич, глянь!

– Да я смотрю.

Кузьмич подошёл поближе к молодому мужчине. Вид у него был, прямо скажем, бледный. Одежда, волосы, руки замазаны грязью. На голове внушительная шишка с кровоподтёком. Лицо тоже в грязи, но под грязью – печать бледнолицего городского жителя.

– Городской, – сказал Иван Кузьмич голосом опытного следователя.

– Да и я смотрю, – поддакнул Степан Семёнович.

– Ты чей? Откуда родом? – спросил Иван Кузьмич у Андрея.

Парень медленно открыл глаза и сказал:

– Ничей.

– Я ж тебе говорил, Кузьмич, не помнит он ничего.

– Подожди, – одёрнул его Иван, – хорошо, ничей. Где живёшь?

Глаза парня медленно закрылись:

– Нигде. Не помню.

– Вообще, на преступника он не похож, – продолжал Кузьмич, – хотя, кто его знает, какой он из себя, сегодняшней преступник.

– Это всё философия, Кузьмич, преступник, он и есть преступник. У него скулы пошире должны быть, и пальцы покороче, и в лице что-то бегающее, – продолжал Семёныч голосом напарника много лет работающего с другим следователем в связке. А потом добавил, – мы его не кормили. Сколько не кормлен, не знаю.

– А как звать тебя? Есть хочешь?

– Не знаю. Хочу.

– Вот дела... Нам же как-то назвать тебя надо. Парень, тебя назвать?

– Назовите.

– Посовещавшись, Кузьмич и Семёныч остановились на двух простых именах: Фёдор и Борис, хотя Бориса выложили с заминкой, так как уж больно много деревенских козлов носили это имя.

– Ты сам как хочешь называться, Фёдором или Борисом, какое имя больше подходит тебе?

– Фёдор.

– Вот и хорошо. Пойдём ка во двор. Там мы тебя попробуем искупать...

Не дослушав фразу Ивана Кузьмича, новоиспечённый Фёдор, бывший Андрей, сполз со скамейки и на четвереньках отправился к воротам.

– Братец, ты что, ходить не умеешь?

– Не знаю.

– А пробовал? Ходить пробовал?

– Не пробовал.

– Так попробуй. Мы тебе поможем, коли впервой. А ну, Семёныч, подсоби.

Странную картину иногда можно увидеть где-то в далёкой деревне. Двое пожилых мужчин поднимают с колен молодого. Он встаёт и падает. Мужчины опять поднимают его, подпирают с двух сторон и втроём они долго стоят на дороге. Встречный ветер мешает сделать им единственный первый шаг.

– Давай, Фёдор, – против ветра пойдём, – оно даже легче против ветра, по ветру и дурак сможет. Это всё равно, как против течения идти. Не река тебя несёт, а сам ты идёшь по жизни. Делай шаг. Представляй впереди яичницу с белым хлебом, чтобы легче было шагнуть.

– Кузьмич! Он что, животное какое, что перед ним яичницей машешь?

– Постой, смотри, шажок-то делает!

Так, подпирая младшего товарища, а потом, отстранившись, трое вступили на двор Кузьмича, и работа закипела. Под яблоню с рукомойником вынесли большое цинковое корыто, нагрели и развели воды, усадили туда Фёдора, помыли, переодели его в старую, но чистую одежду хозяина, и тот, завязав себе полотенце вокруг шеи вместо фартука, встал у плиты второй раз за утро. На столе опять зазвенели перья лука, задышали ломти хлеба, а на сковороде зашипела яичница, и когда очередное яйцо медленно приземлялось в кипящее масло, за спиной Кузьмича выросла фигура Надежды Васильевны:

– Что, завтракать собрались?

– И ты с нами...

– Кто у вас там? – Надежда Васильевна кивнула на холмик с грязной одеждой.

– Подкидыш это, – вступил в разговор Степан Семёнович. Подкинули нам, а я привёл к вам.

– Кто подкинул?

– Не знаем. Может ЦРУ, – попытался пошутить Семёныч, но встретив взгляд Надежды Васильевны, осёкся.

Узнав суть дела, Надежда Васильевна быстро прошла в комнату и села напротив Фёдора.

– Не спрашивай его ни о чём пока, – крикнул Кузьмич с веранды, – пусть поест сначала, и сама покушай, – Кузьмич подмигнул Степану Семёнычу, разложил еду на тарелки, а на огонь водрузил чайник. Надежда Васильевна не ела. Она смотрела, как мужчина, одетый в Кузьмичёвы лохмотья, протягивает руку к хлебу, подносит ко рту, и будто что-то вспыхивает в нем. Ничем не замутнённый восторг разливается по лицу, и через мгновение его рот уже забит. Надежда подсунула ему свою тарелку и шепнула Кузьмичу:

– Сходи-ка за салом, и медку принеси, – и к хлебу вот уже пристраивается толсто нарезанное сало, в стаканы разливается чай, а мёд сияет в глиняной салатнице.

– Выйдем, – Васильевна кивнула мужу, – Ваня, откуда он?

– Не знаю.

– Как можем взять, если не знаем?

– Да оттуда же, откуда и мы.

– Философствуешь. А если ищут его?

– Если ищут – найдут. Не приютить не можем. Уже помыли.

– Ну, раз помыли... – Надежда улыбнулась, – ладно, пусть поживёт, комната Антона всё равно пустует. А с Манькой как? Ты со Степаном договорился?

– Да. Сейчас пойдёт за инструментом, – Кузьмич громко крикнул – Семёныч! Козу резать пора!

– Иду, – Степан Семёнович не мог оторваться от третьей чашки с чаем, потел и подмигивал Фёдору, – помирает Манька. Пока не померла, зарезать надо. Ты, небось, городской, тебе впервой будет, не смотри.

Фёдор встал из-за стола и неуверенно вышел во двор. Было ветрено и жарко. Опять соби-рался дождь.

– А где коза? – спросил он у хозяина, – хочу посмотреть.

– А что на неё смотреть, коза и коза. Вон, за той дверцей.

Манька, ещё вчера жалобно бляевшая, сейчас притихла и лежала на соломе. Ничего хорошего не предвещал ей наступивший день после мучительной ночи. Фёдор присел рядом с Манькой на корточки. Она втянула воздух. Запахло Кузьмичём и ещё кем-то незнакомым, но страшно ей не было. Страшно было от того, что по крупичам вытекала из неё жизнь, и ничего с этим поделать было нельзя, только ждать. Рога у Маньки были небольшие, так и не выросли, глаза жёлтые, разделённые надвое зрачком. Кузьмич иногда называл её «рептилией» и «упырём», но она не обижалась. Была она белая с небольшим чёрным пятном на боку. Дышала тяжело и живот не спадал, а даже наоборот, раздувался, и казалось, что коза очень скоро превратится в воздушный шарик и взлетит. Фёдор дотронулся до её головы. Она никак не отреагировала.

– Хорошо, – внезапно сказал Фёдор, словно отвечал кому-то, – будем оживлять, – и со всей силы неожиданно надавил на круглый козий живот. Послышался треск, и стоящие во дворе решили, что животное лопнуло. Фёдор надавил ещё раз в тех местах, где как ему показалось, поселился «воздушный враг», съеденный любительницей мокрой травы. Треск повторился, и улица Зелёная, на которой стоял дом Веденских, наполнился канонадой и залпами из козьего нутра, напоминавшими праздничный салют. Вернувшийся под обстрелом, Семёныч, стал свидетелем Манькиного воскресения – коза вышла из сарайчика и виновато посмотрела на собравшихся. За ней шагнул Фёдор и двинулся к рукомоёйнику.

– Ветеринар, значит, – задумчиво произнёс Кузьмич, – ну, чего... ветеринары нам нужны.

– Можно я посплю? – спросил Фёдор. Он устал от сильного света и шумов.

– Можно. Надя, отведи его спать, – сказал Иван и достал очередную папиросу.

Фёдора отвели в маленькую комнатку, где помещалась кровать, письменный стол и шкаф с одеждой. Он упал на расстеленную постель и заснул. Ему снился поезд. Он ехал в поезде, а рядом, по зелёной траве бежал чёрный козёл, бежал очень быстро, обгоняя поезд.

– Ну что скажешь? – спросил Семёныч, глядя на восставшую Маньку, жадно пьющую из ведра.

– Погубит её жадность. Рано или поздно погубит, вот что я тебе скажу.

– Да я не про козу, я про парня спрашиваю.

– А парень... у нас с тобой, Степан, отбоя не будет от клиентов. Народ узнает, что у нас лекарь живёт, каждому захочется свою скотину подлечить. Заживём! Откроем фирму. Ты будешь директором, я – главным инженером, а Фёдор работать будет. Как тебе моя идея? Ты ведь всё равно скотину режешь по деревне. Будешь теперь резать законно, по тарифу. Козу зарезать

– 500 рублей, поросёнка – 700, кто захочет уток заготовить – по 50 рублей за штуку.

– Что это вы здесь? Кому кости моете?

– Никому. Всем уже вымыли. А ты, Надежда, что не позавтракала?

– Не хочется.

– Читал я, что есть такая болезнь, амнезия называется. Человек память теряет, а потом она к нему постепенно возвращается. Значит, и к нашему вернётся.

Летели облака. Они напоминали дома, яблоки, шапки, стада... Напоминали, но не были ничем тем, о чём напоминали. Они приняли очертания дома на Зелёной улице, дороги, двух мужчин и одной женщины. Те стояли во дворе, на вершине холма. Что-то объединяло их, может быть, время? Течение времени выбросило их друг к другу, прибило и вынудило стоять рядом на вершине холма, на Зелёной улице.

Андрей-Фёдор спал целые сутки. Проснулся он на рассвете вместе с хозяевами и слушал, как они вставали, переговаривались друг с другом, шли умываться и чаёвничать. По пробуждению память о прошлой жизни не вернулась к нему, зато через форточку пришла кошка Зоя, удобно устроилась у него возле головы на подушке и заурчала. Что-то она напомнила ему. Может, у него тоже были кошки? К этому надо было вернуться и попытаться рассмот-

реть изображение кошек в прозрачном море его памяти. Фёдор поздоровался с хозяевами. Они улыбались ему. Это было удивительно. Он умылся, увидел своё отражение в зеркале на яблоне, испугался и решил в ближайшие дни в зеркало не заглядывать. Выстиранные джинсы и футболка лежали рядом с рукомойником. Он переоделся нехотя, хотел ещё побыть в старой одежде Кузьмича, вбирать его тепло по крупице... но всё же переоделся и пришёл завтракать. Две пары рук, женские и мужские уже наливали чай, двигали тарелку с блинчиками, мёдом, сметаной, и Фёдору показалось, что пожилые мужчина и женщина напротив – это не два человека, а один с двумя парами рук, ног, с двумя головами... и с двумя голосами.

– Ты чего не ешь? – спросил голос Надежды Васильевны.

– Боюсь начинать.

– Может ты перед едой молился? – продолжил голос Кузьмича, – так ты помолишься, не стесняйся.

– Не знаю, по-моему, не молился, но попробую, – сказал Фёдор и опустился на колени...

– Спасибо, – прошептал он и больше сказать ничего не смог, потом вернулся за стол, взял вилку и лицо его озарилось. Так, улыбаясь, он ел.

– Что, вкусно? – одобрительно хмыкнул Кузьмич.

Фёдор не отвечал. Он не помнил, любил ли он блинчики. Наверное, любил, но это не связано ни с чем, а может, было связано со всем.

– Что мне делать, – спросил он по окончании трапезы?

– Жуков собирать, – ответил Кузьмич.

– В спичечный коробок? – пошутил Фёдор.

– В ведро, – продолжал Иван, – берёшь ведро, идёшь с Надей на картофельные грядки.

Они наверху сидят, по листьям, коричневые, сразу заметишь. Собираешь жуков в ведро, а потом бросаешь в костёр. Вся работа. И на голову завяжи что-нибудь.

Надежда повела Фёдора на край Зелёной улицы. Подсохшая дорога белела. Кое-где огромные лужи смотрели в небо тёмным глазом. К пруду у основания холма спешили стайки уток и важно шествовали гуси. Деревенские домики стояли редко, утопая в садах и огородах. Низко-низко возле лица летали ласточки и свистели. Они свернули с дороги, и вышли на огороды, которые показались Фёдору бесконечными. Огороды были разделены рядами кустов и деревьев, обозначающих конец одного и начало другого. За картофельными рядами росли тыквы и кабачки, а за тыквами выстроилась кукуруза. Но неба было больше. Неба было две трети панорамы, а земли – лишь узкая неустойчивая полоска под ногами, зыбкая, готовая подломиться и выбросить в ветер, холод и тишину любого оступившегося.

– Начинай отсюда, я пойду на другой край, – Надежда лёгкой походкой пошла куда-то вдаль.

Фёдор сел на ведро и посмотрел на стебли растений густо покрытые жуками. Даже не с чем сравнить, – подумал он. Судя по всему, сбором жуков он ни во сне ни наяву не занимался. Кошка хоть как-то выводила его на мысли о вчерашнем, а жуки – нет. Интересно, чем я так навредил себе, что у меня украли память? И кто украд? Если этот кто-то я сам, то что во мне не хочет вспоминать? Что там, в этом самом прошлом? Чем я занимался, что любил, какие у меня были вредные привычки? Если гены не меняются – привычки вернуться. А если меняются? И эта вот мутация произошла со мной. Но зачем? Чтобы я собирал жуков?

Фёдор встал с ведра и обтрусил два куста. После чего он увидел птицу. Она летела мимо и несла в клюве кузнечика. Птица была средних размеров, бежевого цвета в чёрную крапинку, и Фёдор не знал её имени:

– Подожди. Поговори со мной.

Птица села поодаль, проглотила кузнечика и спросила:

– Скажи честно, хотел обеда меня лишить?

– Нет, попросить.

- О чём?
- Смотри, сколько жуков, вы таких едите?
- Таких не едим.
- Почему?
- Откуда я знаю? Не едим, и всё.
- Вы едите кузнечиков.
- Да, мы едим кузнечиков.
- А ты могла бы попросить своих знакомых и родственников помочь мне, – и Фёдор показал на грядки.

- А ты?
- Что?
- Чем ты нам поможешь? Наловишь кузнечиков? Мы жуков соберём.
- Сколько?
- Побольше.
- Хорошо.
- Ладно, жди, скоро будем.

Когда Надежда Васильевна наклонилась над очередным кустом картошки, что-то тёмное показалось над лесом справа. Эта темнота разрасталась и превратилась в густое облако птиц, которые с шумом и свистом приблизились к огороду Веденских, а потом спикировали вниз. Птицы склевали всех жуков и взмыли в небо. «Батюшки! Где же я столько кузнечиков найду? Задолжал птицам, а чем расплачиваться буду? Может, кошку попросить? А что я – кошке? Бесконечный порочный круг. И буду я заклёван разгневанными птицами в летнем картофельном поле», – думал Фёдор, а Надежда Васильевна удивлялась – никогда она не видела такую огромную стаю, и никогда не была свидетелем того, что эти птицы ели картофельных жуков. Как часто мы не видим очевидного! Кто лишает нас этого зрения? Надежда решила, что птицы были голодны, и никак не связала чистоту своих грядок с маленькой человеческой фигуркой на другом конце поля. А Фёдор уже искал, куда он будет собирать кузнечиков. Он снял майку, сделал из неё мешок и сел в траву, где стрекотание, как ему показалось, было громче. Ловить кузнечиков оказалось делом трудным, но более увлекательным, и через несколько часов, Фёдор насобирал их достаточно. Надежда Васильевна увидела ещё более странную картину: Фёдор стоял на середине поля с майкой-кульком в руке. С правой стороны леса опять образовалась темнота. Она приблизилась, аккуратно и медленно кружась, слетела вниз, прямо на Фёдора. Птицы сидели у него на голове, на плечах, на согнутых локтях, они устроились и на земле бежевым ковром в чёрную крапинку. Фёдор положил майку на землю, развязал её, и дивизия кузнечиков была быстро съедена. Он не заметил, хватило ли всем. После этой процедуры птицы, как по команде, разом взлетели и направились к лесу.

– Я ничего не помню! – кричал Фёдор и плакал, – я не помню, жил ли я, не помню запахов лета, не помню, предавал ли, подличал, хоронил ли близких, и были ли у меня близкие. Я ничего не помню! Умел ли я смеяться? Родились ли у меня дети? Я не помню, был ли я с женщиной. Кому или чему был верным? Кого спас? Кого загубил? – Фёдор тихо рыдал у Надежды на плече. Она гладила его по спине и шептала:

- Всё хорошо, Федечка, всё вспомнишь, вот увидишь, обязательно вспомнишь.
- Я не знаю даже собственного имени.
- Узнаешь имя.
- Чем вы занимались с мужем? Какая у вас профессия? Дело жизни? У вас есть дети?
- На пенсии мы. В прошлом – учителя. Я литературу преподавала, а муж – историю.
- Что с нами делает жизнь? Что делает?
- Растит, Федя, растит. Есть у нас двое детей. Дети уже взрослые. Сын твоего возраста, дочь помладше, оба в городе живут.

- Навещают?
- Дочь чаще приезжает. Сын... – она вздохнула, – бывает реже. Пойдём обедать.
- А у вас в семье, выходит, муж – на кухне?
- Я утром ухожу в огород, а он кормит животных, чистит в сараях и готовит.
- А что на обед?

Иван Кузьмич стоял во дворе, курил папиросу и смотрел на облака. Он не замечал зелёную гусеницу, которая спустилась с груши ему на шляпу и ещё не понимала, что ей делать дальше. Он был рад огородникам, хорошему дню, папиросе, тому, что к обеду уже много сделал и успел проводить вдаль уже не одну вереницу облаков. Обедали куриным супом со свежей зеленью, кусками мяса ещё недавно бегающего молодого петуха, картофелем и макаронами. Тарелки были внушительные, глубокие. После непродолжительного молчания все принялись за еду и лицо Фёдора вновь озарилось. Улыбка всплыла к нему на лицо, предваряя жевки и глотки.

- Ну что, – спросил Кузьмич, – не к столу сказано, – как трудовые успехи?
- Всё хорошо, ответил Фёдор, – жуков склевали птицы.

Иван Кузьмич громко захохотал, оценив юмор Фёдора:

- Как думаешь, Надя, по осени нам с тобой картошку кроты выкопают?
- Выкопать, они, может, и выкопают, но по мешкам сложить не смогут и в погреб перенести тоже, всё равно нагибаться придётся.
- А почему вы приняли меня? Может, я разбойник какой?
- Мы со Степаном отработали эту версию. На разбойника ты не похож. Мы их по запаху различаем. От разбойника пахнет зверем.
- А от меня не пахнет?
- Когда мыли тебя – не почувствовали.
- Вы вот всё шутите, а вдруг я вспомню что-то такое...

– Вспомнишь – неужто за старое возьмёшься, – Кузьмич хитро прищурился. Если ты вор – у нас воровать нечего. Только жизнь. А зачем тебе наша жизнь? Ты молод. У тебя всё на месте. Хочешь, чтобы память вернулась? А может, не нужно ей возвращаться. Может, жить с этим не сможешь, повеситься захочешь. Будешь стёрт на земле, никто тебя не оплачет, и никто не вспомнит кроме меня, Семёныча и Нади. Ты сейчас вчерашний день ищешь. Сожалеешь, что отобрали его, а не имеешь права. Уходят дни. Я вот науку такую преподавал, про вчерашний день. Историю. И что ни год – переписывалась история наша, переиначивалась. Зачем? Кому выгодно, чтобы история переиначивалась? Может, нам? Что, мы от этого, людьми станем? Лучше будем, или полюбим кого бескорыстно... Как хочешь прошлое запиши, можешь его придумать, десять раз переписать. Кто ты сегодня – это важно. У меня бы кто память украл.... Так не крадут же! А хотелось бы. Ты прости, сынок, понимаю, трудно тебе, но ты потерпи. Сходи сейчас на речку, я покажу дорогу, она напрямиком к реке выведет. Поплавай, проветришь, глядишь – и вернутся к тебе воспоминания.

Когда Фёдор вышел за ворота, провожающие его мужчина и женщина, переглянулись:

- Как думаешь, Ваня, он не сумасшедший?

– А мы, Надь, нормальные? И какие они, эти нормальные? Кто норму нашу взвешивает? Кто распределяет? Внутри нас она, или стоим мы на ней? Или норма для людей – это только так, форма приспособления и присвоения чужой свободы. А парень этот интересный. Нравится он мне чем-то.

Дорога, по которой к реке шёл Фёдор, была пустынна. Изредка по ней проезжали машины, изредка попадались пешеходы, которые здоровались. Откуда-то Фёдор знал эту деревенскую традицию – здороваться, и здоровался с удовольствием. Мимо бежали мягкие холмы, струились тропинки, протоптанные людьми и животными, одинокие дикие груши и островки леса. Дорога шла через вершину холма, и оттуда открывался необозримый простор. Где-то

далеко, за мостом, под тенистыми клёнами и акациями укрылась незнакомая деревня, перед ней бежала быстрая и чистая речка. Он сошёл с дороги в траву, долго любовался живописной далью, а потом погрузился в размышление. Ему сохранили речь, способность мыслить на языке и общаться. Ему оставили тело в неповреждённом крепком состоянии. Он не знал, мог ли раньше разговаривать с птицами. Он не знал, что может ещё. Он помнил часть прочитанных книг. Это было удивительно. Усиление света и звука, испытанное им, сошло на нет, лишь иногда, расфокусировав взгляд, он видел, как светятся предметы. Индивидуальность и профессиональные навыки стёрлись. Может быть он – инопланетянин, корабль которого потерпел крушение, и он внедрился в тело умирающего? Как романтично! Но он бы помнил, откуда прилетел. Мимо с гиками и шумом пробежали мальчишки, разделись догола и по очереди стали нырять в реку с огромного камня на берегу. Ещё были лошади... красные, подумал он. Красных лошадей он видел у кого-то на картине, но не помнил автора. Он помнил картины или ощущение от них, а авторов – нет. А может их не обязательно помнить? Эта мысль принесла ему неожиданное облегчение. Фёдор спустился с холма и вошёл в реку. Больше он не думал, он плыл, лёжа на спине. В воде было так хорошо, что на берег не хотелось, но проведя в реке некоторое время, он вышел, оделся и сел на берегу. Мимо прошёл рыбак с огромными удочками, поздоровался и устроился невдалеке. Почему ему так страстно хочется узнать о прошлом? Как будто от этого зависит его сегодняшнее положение дел, чистота реки, сколько рыб выловит рыбак и принесёт ли улов домой? Домой. Это слово заставило его сердце заныть. Что это такое, смутное «домой»? Место, где тебя любят, куда можно вернуться и укрыться? Или какой-то другой человек является его домом? Или дом – это то, что является его собственностью? Он тихо засмеялся... Господи! Что же является его собственностью?

– А ты не смейся, – вдруг сказал рыбак, – ушла... большая была рыба, вовремя не подсёк. Ещё поймаю, вот увидишь.

– Да я не над вами. Над собой смеюсь.

– А то, правда, над собой посмеяться не грех, – сказал рыбак, и вновь замолчал.

– Скажите, а для чего вы живёте?

На этот раз тихо засмеялся рыбак:

– Да ты, парень, поймать меня захотел, как я рыбу. Зачем живу? Чтобы выйти к реке. Небо увидеть. Про себя забыть. Что смеёшься? Разве это смешно?

– Вы хотите про себя забыть, а я – вспомнить, вот и смеюсь.

– А может это одно? Забыть, вспомнить... Какая разница? Может, вспомнить можно только забыв, а забыть вспомнив. Не знаю. Счастлив я возле реки. Душа успокаивается.

– Вы счастливы возле реки, потому что вам есть куда вернуться.

– А тебе что, некуда вернуться? Давай, иди ко мне жить. Я одинокий. Жена умерла, дочь далеко живёт.

– Странные здесь люди живут.

– Чем странные?

– Может, они везде такие, но даже в беспамятстве я понимаю, что странные. Не бойтесь вы чужих людей, наоборот, готовы приютить.

– А что в этом странного? Разве не должен так человек жить? Делить кров?

– Наверное. Я пойду.

– Куда?

– Я у Ивана Кузьмича остановился и Надежды Васильевны.

– Хорошо, что так, – Рыбак улыбнулся, – передавай им привет от Гавриила, и вот, – мужчина вытащил из воды щуку средних размеров, – больше пока не успел ничего поймать. Будешь идти по дороге – первый дом налево, последний в деревне – мой. Он голубой – выкрашен голубой краской. Заходи, буду очень рад.

Фёдор стал подниматься на холм и очень скоро растворился вместе со щукой в закатном солнце, но Гавриил не смотрел ему вслед, он был занят рекой и небом, небом и рекой.

– Иван Кузьмич!

– Что?

– Не могу я так больше, на шее у вас сидеть, мне нужно что-то делать.

– А что можешь делать?

– Не знаю.

– Ты только второй день с нами, и то – от тебя пользы больше, чем убытку. Ты не торопись, не гони лошадей. Побудь так, ни в чём, по деревне походи, глядишь, кому-нибудь твоя помощь и понадобится, умение твоё откроется. Посмотри, послушай. А что совесть мучает – это хорошо.

В эту ночь Фёдор спал беспокойно. Ему снилось, что он падает с крыши многоэтажного дома в картофельное поле. На поле сидит птица и держит в клюве таракана. Таракан двигает лапками и пытается вырваться. Птица кладёт таракана Фёдору в рот и говорит: «Ешь». Фёдор жуёт. Таракан по вкусу напоминает петуха из обеденного супа, только между зубов застряли его железные лапки. Фёдор долго достаёт лапки, но они прочно сидят в дёснах и дёсны болят. Фёдор дергает лапки изо всех сил, и у него изо рта – идёт густая дурно пахнущая кровь.

Он проснулся и долго лежал в темноте. Было пусто и больно там, где, наверное, находится душа. Неожиданно он услышал гул в ушах. Он нарастал. Воздуха не хватало. С четырёх сторон к дому подошли ангелы. Двое встали возле крыльца, двое – возле кровати, на которой лежал Фёдор. Фёдор понял, что пришли за ним, но внезапность наступающей смерти поразила его. «Я не готов», – думал он. Он закричал, как ему показалось громко, сполз с кровати, и корчился на полу во внезапных судорогах. Иван Кузьмич подскочил немедленно, разбудил Надю, и они вызвали скорую. Как ни странно, сам процесс агонии был весёлым, и чем ближе он был к концу, тем радостней ему становилось.

– Приехали, – сказал Кузьмич, – как быстро приехали!

Чьи-то руки уложили его на диван, сделали укол в вену, положили таблетку под язык и Фёдор услышал своё сердце – оно забилося, как пойманная птица.

– Жить будет, сказал тот, чьи были руки. Можем забрать в больницу.

– Документов при нём нет никаких.

– Можем и без документов взять, – Фёдору показалось, что это ангелы совещаются о его транспортировке, но тех уже и след простыл, а эти уже обсуждали с Кузьмичом обилие дождей и надвигающуюся жару.

Всю ночь Фёдор слушал своё сердце. Оно билось. На рассвете он увидел незнакомое женское лицо. Оно смотрело на него через раскрытое окно в его комнате.

– Привет, – сказала женское лицо.

– Привет, – ответил Фёдор.

– Умираешь? Отец сказал.

– Попытался. Не вышло.

– Света.

– Фёдор. Моё новое имя.

– Тебе подходит, – она засмеялась, – извини.

– Ничего. Ты, значит, дочь.

– Да. А почему тебя не забрали в больницу? У тебя ведь, вроде с сердцем проблемы?

– С сердцем проблемы не только у меня.

– Извини. Выглядишь нормально.

– Спасибо.

– Сколько ещё будешь лежать?

– Не знаю. Мы будем общаться через окно?

– Сейчас я принесу тебе чаю, – сказала Света и исчезла. Через некоторое время она появилась с другой стороны с чашкой, – Пей, он с мёдом и некрепкий, раз ты сердечник, – она села рядом на стул. – Когда я пойму, что ты устал – уйду.

– Я устал.

– Я пошла.

– Стой! Я пошутил.

– Мне может стать скучно.

– Я понял.

– Это моя проблема. Быстро становится скучно.

– Да, это проблема.

– Значит, ты ничего не помнишь? – она вдруг просияла, – это очень интересно!

– Тебе интересно, мне – нет.

– Тот, кто теряет – ищет то, что потерял, а когда находит – радуется.

– Я не потерял.

В открытое окно вошли утренние солнечные лучи и бродили по стенам, по поверхности стола, играли в воздухе, освещали части лица и фигуры Светы, её руки, прозрачные серые глаза, скользили по прямым пепельным волосам.

– Если ты сможешь мне, сможешь вспомнить, я на тебе женюсь.

Она засмеялась:

– Почему ты думаешь, что это моя мечта – выйти замуж?

– Не знаю.

– Я не хочу. Это первое. Я некрасивая, а ты – красавчик. Некрасивая девушка и красивый мужчина не сочетаются. Это второе. Потом, я же не товар, чтобы менять меня на память. Это третье. И ещё... я тоже.

– Что тоже?

– Также тебя не люблю.

– Женятся не по любви.

– Сейчас вообще редко женятся. Живут просто так.

– Да, животные тоже не регистрируются... Я пошутил. Ты – первая молодая женщина, которую я увидел после своего второго рождения, а потом ещё и воскресения, всё равно, как Адам – Еву. Не называй меня красавчиком.

– Это факт.

– И кто придумал идеал женской или мужской красоты? Для меня красиво одно. Для другого – другое. Нам хочется быть рядом с живым человеком, но живой, значит – опасный. Спасибо за чай.

– На здоровье. Ты поднимайся, если можешь, мы с матерью сейчас будем завтрак готовить.

Фёдор встал, но вставание далось ему с трудом. За одну ночь он ссутулился, ноги ослабели. Вот так приходит старость, – подумал он, и, опираясь на стул, отдышался. Так человек потихоньку теряет всё. Репетиция смерти оторвала его от фанатичного желания вспоминать. Он вышел во двор, присел на стоящую рядом с рукомойником табуретку и затих. Было тепло и солнечно. Он прикрыл глаза и услышал голоса птиц, животных и насекомых, движения воздуха, грохоты листьев, бьющихся друг о друга. К ногам подошла Манька и встала рядом с Фёдором. Она стояла без движения и сострадала ему. Фёдор понял это и положил ей руку на голову:

– Что Манька, спасти меня хочешь?

Манька улыбнулась и сказала:

– Хочу.

За завтраком только и говорили, что о Фёдоре. Что он родился в рубашке, что скорая оказалась как раз рядом, что он сильно всех напугал, что недавно в деревне умер мальчик от сердечного приступа. Даже приезд дочери был приурочен и присовокуплен к последним событиям. Фёдор же отвечал, что за последние дни впервые провёл ночь без суеты, как больной мигренями вместе с болью теряет мысли. Розовый нитроглицерин наготове лежал у него в кармане джинсов. Фёдор готов был жить дальше.

– Ну, пошли, везунчик, буду тебе достопримечательности показывать, – предложила Света.

– Света, а может, рано ему, пусть отлежится, – запричитала Надежда Васильевна.

– Мам, как раз вовремя, мы пошли, – Света подхватила Фёдора под руку – и повела за ворота в утро, которое, как и все остальные утра обещали бесконечную жизнь. Жёлтая Ван Гоговская дорога струилась, обнимая зелёные и пёстрые берега огородов, крыш, заборов, бегущих струек уток и почти неподвижных ярких петухов. За окнами домов вздыхали, горевали, думали о насущном, смотрелись в зеркала, любили, ненавидели, были свидетелями собственного исчезновения. Света вынула из сумки пачку сигарет и закурила.

– Ты что, куришь?

– Курю иногда, но не при родителях. Я сейчас выкурю сигарету, и мы с тобой побежим.

– Куда побежим?

– Просто побежим. Чтобы ты понял, что здоров. Чтобы в себя поверил.

– По-моему, я ещё не могу.

– Проверим. Беру на себя ответственность, если что с тобой случится.

– Хорошо, бежим.

Они побежали, как будто бежали по этой дороге уже много раз по пустынным холмам, по каменистой местности, как когда-то, в запредельной юности своей, и когда-нибудь опять побегут. После бега, сидя в траве и вдыхая запах очередной Светкиной сигареты, он вспомнил отрывок из своей жизни: лето, зелёный городской сквер. Он бежит за девочкой. Она в оранжевом коротком платьице, у неё две косички, она сильно напугана. Он хочет отомстить за то, что случилось раньше. Это было зимой, они играли под фонарями в лесополосе между двумя пятиэтажками. Они играли в войну и бросали друг в друга палки, снежки и кусочки льда. Всё было по-настоящему. Его палки опускались к ней на шапку, оседали на плечах. Её ледышка угодила ему в переносицу. У него пошла носом кровь, и в нём вспыхнула обида и ненависть. Весной он искал её, чтобы отомстить, но она уехала из города и приехала только летом. За несколько месяцев он вырос, и как будто возмужал и окреп. Летом, играя с пацанами в вышибалы, он увидел, как она идёт мимо его дома. Она тоже увидела его, и они побежали. Она нырнула в свой подъезд, он – за ней. Мысленно он уже много раз бил её по носу, и у неё начинала идти кровь, но он сильно вырос, а она не изменилась. В подъезде желание мстить улетучилось. Он хотел ударить, а вместо этого поздоровался и выбежал на улицу.

– Я вспомнил, – сказал он вслух.

– Что? – спросила Света.

– Одно событие из своей жизни.

– Поздравляю.

– Но я не знаю, в каком это было городе, и что это был за двор, что за улица.

– Может, ещё пробежимся?

– Не могу больше.

– Ладно, мы почти пришли, здесь живёт бабушка Зинаида. Она художница. Пишет маслом на досках петухов, кошек, коз, святых, цветы и своих соседей. Ты захочешь забрать все доски вместе с Зинаидой, но она продаётся, не покупается, да и нет таких денег, чтобы купить хоть один её шедевр.

Зинаида сидела на лавочке рядом с собственным крыльцом нога на ногу и курила. Она оказалась маленькой сухой старушкой в светлом фартуке, перемазанном масляной краской. Одна кисть руки держала сигарету, другая – тёмным островом лежала на светлых одеждах. На голове – косынка. Загорелое, испещрённое морщинами лицо, украшали массивный нос и светлые лучистые глаза. Глаза были даны Зинаиде для согрева ближних. В этот дневной час она согревала кошку и трёх подросших котят, резвящихся у её ног. Завидев Свету и Фёдора, она разулыбалась так, как будто к ней спустились ангелы. Не выпуская из редких зубов сигарету, она полезла обниматься:

– Деточки мои! Радость-то какая!

Усадив гостей на лавку, она подбоченилась, выпрямилась, и так же, с сигаретой во рту, продолжала:

– Иисуса написала! Батюшка не благословил меня Иисуса писать. Курю я... А я написала не спросясь, уж больно хотелось!

– А вы всегда у батюшки спрашиваете, писать вам или не писать? – спросил Фёдор.

– Нет! Что ты, милый! Вот если святого какого писать хочу, Матушку нашу, Заступницу, – она вынула изо рта сигарету и перекрестилась, – Иисуса Христа если – испрашиваю благословения, а батюшка у нас строгий: «Привычки твои, бабка, над тобой взяли верх! Куришь и ругаешься». А я милый, курю с малолетства... И ругаюсь тоже. Нет-нет, а крепкое словцо пропущу. Что делать? Слаба я. А всё остальное: петухи там, люди, кони, кошки – это всё так, без спроса пишу, по требованию души. А вы смотреть пришли? – с надеждой спросила она?

Света вынула из сумки два блока сигарет, на что бабушка подпрыгнула, захлопала в ладоши и стала благодарить Господа за такой щедрый подарок.

– Отработаю, – говорила она и била поклоны, – отдам всё до копейки.

После благодарственного бормотания Зинаида нырнула в дом и вынесла миску с хлебом и огурцами, щедро политыми мёдом.

– Ешьте, сказала она, – смотреть потом будем.

На запах хлеба с огурцами сбежались кошки, сели рядом и внимательно смотрели жёлтыми и зелёными глазами за исчезновением хлеба в провалах молодых ртов.

– Вы кушайте пшеницу я сама рожу, у меня своё поле пшеничное. Не могу покупной есть. Такой нигде больше не попробуете.

Хлеб действительно был особенный, а огурцы с мёдом оказались изысканным щедрым блюдом.

– Сейчас начну плакать, – сказал Фёдор

– Давай, я тебя ещё плачущим не видела, сделай мне подарок, – обрадовалась Светка.

Фёдор отвернулся. Потом взял кусочек хлеба, разломил на четыре части и бросил кошкам.

– Пошли, – объявила Зинаида, – и они поднялись на крыльцо.

В светлой комнате, больше похожей на мастерскую, чем на жильё, бабушка расставила квадратные внушительные доски, на которых был изображён яркий мир. Этот мир включал в себя сказочных петухов, звёзды, земные и неземные растения, портреты кошек, орлы, парящие в радужном воздухе. Соседи были похожи и не похожи на себя, они были горячее настоящих, от картин шёл жар. И ото всех полотен даром лилось и исходило нечто такое, чего любой человек жаждет. Любовь, да такая, что вполне можно было привязаться и остаться в этом мире, созданном человеком, но нечеловечески насыщенном. Потом Зинаида убрала часть работ и выставила «любименькое» – своих святых. Ксения Блаженная стояла на улице Петербурга в густом падающем снегу. Мимо неё летели пролётки, сражающиеся за право её подвести. Матрона Московская, изображенная в виде маленькой фигурки, а вокруг неё – сияющий огромный мир чудесных её видений. Любила она писать Пречудного Серафима Саровского, парящего в молитве над землёй, особо миловала Петра и Февронию, которых изображала часто, иногда в

виде стариков, сидящих рядом на лавочке, иногда в виде молодых, стоящих в обнимку, иногда в виде зрелых людей, знающих и хранящих тайну любви. А про Святое Семейство и говорить не приходится! У Зинаиды было много изображений Иосифа и Марии, но из её семейных портретов совершенно очевидным и естественным становилось и следовало появление Христа. Словом, Зинаида усомневалась непорочное зачатие, и, судя по всему, уже не раз была предана анафеме местным батюшкой. Писала и Марию отдельно. Мария почти всегда плакала. Слезами её был закапан пол и очищен воздух в мастерской. Иисуса же бабушка изображала после многодневного молчаливого поста, в котором она затворялась в своём доме и дворе, и тогда, без того редко появляющуюся на людях бабушку, не видели вообще. «Иисуса пишет» – говорили про неё соседи и знакомые. И на квадратной доске сначала появлялось сияние, а потом, начиная с ног, проявлялся человек, у которого всё лучилось – складки лица, руки, стопы, волны одежд. В изображениях Христа Зинаида была полностью солидарна с канонам икон, но больше всех прочих иконописцев уважала Андрея Рублёва и Феофана Грека: «Андрюша, тот не человек, ангел он, как человек может так писать? Вот Феофан – тот мужчина, и страсти в нём сколько! Наш бы батюшка точно бы его отлучил! Ох, язык мой – враг мой!»

– А я ведь тоже иногда так мир вижу.

– Как, милый?

– Ну, там, лучи разные от всего.

– Баба Зина, у нас, оказывается, ясновидящий поселился.

– А ты его не кусай, Светка, парня беречь надо, а ты кусаешь.

– А может, я его так берегу.

– Может оно и так, только хорошо бы людям мирно жить. А как? Сама вон, день-деньской воюю.

– Бабушка, а я всё забыл. Кто я, как меня зовут, где родился, кто родил. Вспомнил только, что был обидчивым и мстительным.

– Страстный значит. Может, от глупостей и ненависти тебя и уберегли.

– А кто-нибудь смотрит ваши картины?

– Конечно! Ко мне все захаживают, и из соседних деревень приезжают. Я просто так картины не раздаю! Отработать надо. Огород прополоть, зерно моё отвезти, перемолоть, картошку выкопать, дом побелить, крышу или забор починить. А кто из города едет – краски везут, и кисти прощу, без кистей писать как?

– А дети у вас есть?

– Пятеро! Живы все! Разъехались кто куда.

День был очень большим и слишком маленьким. Он вмещал до верха, сколько мог. Сердце болело иногда и щемило постоянно. По дороге бежал мальчик. Его догоняла старшая сестра и кричала ему: «Андрей!»

Это я, подумал Фёдор. Это моё имя

– Меня зовут Андрей, – сказал он шагающей рядом Светке, – я вспомнил.

– Фёдор тебе больше подходит.

– У меня был отец. Очень тихий. Он построил себе лабиринт из книг.

– Почему был?

– Он умер. Я вспомнил... В отце было много тайного, непроявленного, нереализованного. Мне казалось, что он переживает жизнь, ждёт смерти... Как бы это сказать, он ничем не пользовался, знал, что всё равно придётся вернуться. Я очень любил его. Очень.

– Он курил?

– Почему ты спрашиваешь про это? Курил. Много.

– А мать?

– Мать была очень привязана к нему. Она была похожа на розу. Очень красивую, изысканную, благоухающую, но очень колючую. Не смейся. Ты тоже колючая.

– Только не изысканная.

– Ты странная. Над всем смеёшься. Ко мне память возвращается, а ты смеёшься, как будто тебе всё равно.

– Могу заплакать.

– Что?

– Совсем не всё равно, Фёдор! Или как тебя, Андрей! Я дочь своего отца. И если ты услышишь однажды, как смеются комары, голуби, крысы, доски пола, по которому мы ходим, знай – этому научил их отец.

– У тебя есть мужчина?

– Меня не выдерживают парни. Я слишком много смеюсь, курю, мне нужно отрезать язык, тогда, может быть... Мать тоже умерла?

Фёдор не ответил. Шёл молча какое-то время, а потом сказал:

– Я хочу выращивать розы.

– Убыточное дело.

– А ты пробовала?

– Нет.

– Помню сон, как я лечу в самолёте над своим собственным полем цветов. Внизу – земля, красная от роз.

– Всё впереди.

– Что?

– Ты будешь вспоминать, а я плакать. Почему-то моё прошлое никому не интересно, а твоё прошлое должно быть интересно всем. Может, книгу напечатаешь и издашь?

– Ты устала от меня? Мне интересно твоё прошлое.

– Только мне не интересно о нём рассказывать.

– Вы очень похожи с отцом.

– Все так говорят.

– Ты учишься?

– Заканчиваю педагогический. Семейный бизнес. Династия. Я ещё ничего не решила, могу передумать и заняться чем-нибудь другим. Например, организовать реабилитационный центр по восстановлению памяти и работать с такими психами как ты.

– Возможно, это твоё призвание.

– Возможно.

Некоторое время они шли молча.

– Завтра в храм пойдём, за речку, в соседнюю деревню, – продолжала Света.

– До завтра дожить нужно.

– Может, пробежимся?

Странную картину можно иногда увидеть летним днём: по ухабистой дороге в далёкой деревушке, бегут два подросток-ребёнка. Они бегут и смеются, переговариваются на ходу, как будто не ведали никогда печали и никогда и нигде не ожидает их смерть.

Вечером, когда Иван Кузьмич, Надежда Васильевна, Света и Фёдор вчетвером сели за стол ужинать, неожиданно возникло ощущение полноты, невесть откуда взявшееся. Оно погрузило всех в состояние лёгкого опьянения или эйфории.

– Всё, Фёдору пора спать, – сказал Иван Кузьмич и выразительно посмотрел на дочь. – Спать будем спокойно, – гипнотизировал отец семейства, – утро вечера мудренее. Наш целитель сам здоровья не имеет, ему отдыхать пора. Приказываю разойтись по спальным местам.

В эту ночь каждый из собравшихся в доме Веденских долго не спал. У Ивана Кузьмича болели ноги, он думал о Светке и о том, что, если бы родилась мальчиком – стала бы поэтом

или попала бы в тюрьму. Надежда Васильевна никак не могла забыть Фёдора, облепленного птицами. «Что это было? Видение? Явь? Воплотившаяся строчка из стихотворения?» Обрывки мыслей никак не соединялись друг с другом и на большой скорости летели по небу её сознания. «Сын давно не приезжал.... Одежду бы какую Фёдору купить, ходит в единственных джинсах и футболке.... А ведь совсем недавно, каких-нибудь двадцать лет назад, писала стихи и неплохие. Может, брать с собой в огород блокнот? Смородины будет в этом году много, надо сахаром запастись.... Светка.... Оставить её в покое и даже мыслями не мешать.... Господи! Дал же Бог золотого мужа! За что?»

Светке в голову лезла разная чушь. Там не было никакого порядка: «Интересно, а чем по ночам занимается Зинаида? Спит? Завтра надо бы отцу поутру помочь.... А этот пришелец вроде ничего, симпатичный, но об этом, учитывая плачевный опыт отношений с противоположным полом, лучше не думать. Ещё год учиться в институте.... Пока буду учиться, можно подумать, стоит ли его вообще заканчивать. Родителей огорчать нельзя. Надо закончить. Или перевестись куда-нибудь? Или пойти работать? Всё, хватит думать... Сон не идёт. Пора обращаться за помощью к слонам.... Не помогает.» Светка включила ночник, взяла в руки томик Омара Хайяма и блаженно улыбнулась.

Фёдор тоже долго не мог уснуть. То ему мерещились чьи-то шаги возле дома, то дощатый пол в комнате начинал шуршать, то одеяло вдруг громко шипело, когда он ворочался. За окном оркестр сверчков пытался исполнить сороковую Моцарта, гудели жуки, звенели комары, лезли букашки, трава тоже стала громкой и голосистой. Ещё ему казалось, что он слышит, как миллионы червей заглатывают, жуют и выбрасывают переваренную землю, и к ним стремится шустрый крот лопатами – литаврами освобождая себе дорогу, сопя и смыкая челюсти на очередной пойманной жертве. Ночные бабочки сидели на стволе яблони и хлопали крыльями, как куры. Ох! В форточку влезла Кошка Зоя, походила по Фёдору туда-сюда, выбирая место, где прилечь и устроилась на подушке над его головой, напоминая рыжую шапку.

– Только, прошу тебя, не урчи! – попросил Фёдор.

– Хорошо, – ответила кошка, – но я боюсь, что не сдержусь. Сколько в тебе беспокойства!

– Сам мучаюсь.

Фёдор уснул, и ему приснилось городское кладбище.

Группа мужчин и одна женщина, несли урну с чьим-то прахом. Они шли мимо кварталов с ухоженными и неухоженными могилами и почти достигли края, где бетонная стена отделяла кладбище от железнодорожного полотна, по которому время от времени пробегали электрички и выстукивали, высвистывали свои песенки. На третьем ряду перед стеной на огороженном участке была уже выкопана могила и приготовлена мраморная плита. Фёдор не разглядел фотографию и надпись. После непродолжительного молчания, женщина передала урну в руки крепкого мужчины, который опустил её в ямку, засыпал землёй, затем, залил бетоном фундамент для мраморной плиты, поднял её вертикально и установил на цветочнице, на которой безутешной вдове полагалось высаживать незабудки и ландыши.

– Мир праху твоему, Андрюша, сказала женщина. Спи спокойно, друг мой и муж.

Одинокая слеза покатила по гладкой тонированной щеке женщины. Двое хорошо одетых мужчин попросили у крепкого вырыть им лунки для кустиков сирени. Затем, опустили по кусту в лунку, заполнили пустоту землёй, притоптали дорогими ботинками и полили бутилированной водой. Кто-то уже посматривал на циферблат часов, которые носить было не стыдно, кто-то достал сигареты. Закурили после, выйдя гуськом за ограду и двигаясь к центральной асфальтовой дорожке. Фёдор приблизился к плите. Там была его фотография, которую он не узнал сначала, а потом, понял: «Это я, Андрей Никитин. Это моя дата рождения и дата смерти. Ты смотри, мужик, как мало ты прожил! Каких-то жалких тридцать пять лет!» Фёдор затрясся рядом со своей могилой то ли от ужаса, то ли от печали, то от счастья, что его похоронили, а он жив, вот тебе, здоровый и невредимый. «Стало быть, женщина с тонированной щекой была

его женой. А эти парни в дорогих костюмах, кто они? Надо выяснить.» Он громко закричал: «Подождите!», – и рванул вдогонку по дорожкам кладбища, но люди исчезли. Ветер гнал по асфальту клубки сгоревшей бумаги. Это были его письма к ней. Он узнал свой почерк в уцелевшем углу листка. Анна. Её зовут Анна Никитина, в девичестве Толоконная. Как он мог жениться на женщине с такой фамилией? А те, что были с ней – его друзья. В ушах загремело, и он проснулся. Зои на голове уже не было. Стояла ночь. Он вспомнил. Мужчин звали Геннадий Белый, Евгений Демченко, Савва Добрый и Михаил Крэг. Никогда Михаил не рассказывал о происхождении своей английской фамилии, и язык знал не в совершенстве, но все звали его «Англичанин». Англичанин и Савва из всей компании были холостыми, остальные имели семьи. У Белого в семье были дети. А были ли дети у него? Он силился, но вспомнить не мог. Мужчин он знал дольше, чем свою жену. Они вместе учились в Финансовом университете на одном курсе. Учиться было легко, свободного времени было много. О! Эта невыносимая лёгкость бытия! Игра страстей и умов, опыт удовольствий. У кого из товарищей он увёл Толоконную? Она же была чьей-то невестой! Точно не у Крэга, он был одиночкой, ему никто не был нужен. У него с девчонками были трёхдневные романы, а после, Крэг аккуратно прощался с избранницей. Толоконную он увёл на спор. Это был открытый спор. В нём участвовали жених и остальные. Когда это было? Точно не на первом курсе и не на втором. Они уже почти окончили институт, и каждый из них уже имел своё дело.

«Радость моя! Банально и странно тебе слушать эти слова. Так было и так будет всегда. Мужчина волен предложить женщине пойти с ним рядом, разделить с ним горе и радость, быть причиной горя и радости. Аня! Я понимаю сложность твоего выбора, потому что Белый – он и есть белый во всём, и выбор вещь мерзкая. Но я прошу его сделать. Люблю. Твой Андрей». Письма он подбрасывал ей в почтовый ящик и действовал несколько старомодно. Да. Понятно, увёл он Анну у Генки Белого. Белый, конечно, полный идиот, сумасшедший, спорить на ту, кого любишь. Мы поставили на кон приличные деньги. О, игра! Жизнь была блестящей партией. Мы строили свою судьбу, отнюдь не наоборот. У кого-то из нас всё получалось, кто-то пыхтел ради задуманного дни и ночи напролёт, но и малой части задуманных нами грандиозных планов хватило бы, чтобы сказать – жизнь удалась. Только что это было? То, что промелькнуло так быстро и что мы так настойчиво называли словом «жизнь»? После свадьбы Анны Белый сразу женился на другой, не прошло и месяца.

У Аньки были ресницы, правильные черты лица, красивая линия спины, ноги из подмышек, бюст третьего размера. Во всём она напоминала породистую лошадь. Он знал, как держать её в узде, как вовремя дарить подарки, хвалить, а потом очень точно делать критическое замечание. Знал, как поставить от себя в зависимость. Красивая женщина должна быть зависима, иначе семейная ситуация неуправляема, ты ступаешь по минному полю или болоту, где царит неизвестность. Даже её неконтролируемые вспышки раздражения, претензий и обид были просчитаны, включены в реестр, допустимы. А любил ли он Анну? Наверное, он подразумевал под этим словом что-то другое. Анна была нужна ему, как дорогая марка машины, как элитный район для проживания. В конце концов, жена – это лицо мужчины, и это лицо его устраивало. В остальном, у него не было времени на сопли. Знал ли он что-либо о ней? Или скажем так, был ли знаком со своей женой? Видел ли в ней беззащитную девочку? Видел ли человека за игрой в ухоженную светскую львицу? Понимал ли причину её замкнутости и угрюмого молчания? Слышал ли, как Анна включает в ванной воду и с рыданиями воет?

– Аня, – однажды спросил он её, – ты хочешь ребёнка?

– Нет, не хочу.

Он облегчённо вздохнул.

– Хорошо. Ты... когда захочешь, скажи мне.

– Хорошо.

Нет, всё же он правильно женился. С Аней было удобно, легко, только иногда он с ужасом думал о том, что испортил ей жизнь, и выйди бы она за Белого, нарожала бы кучу детишек, располнела, возилась бы с ними... Или не возилась бы? Анька разве рождена для возни с детьми? Красивой женщине в обществе отведена особенная роль – так думал он тогда. А сейчас? А сейчас у него сгнило сердце и мозги, что он может думать?

Что-то быстро они его похоронили. Хотя...на их месте, возможно, он поступил бы точно также. Значит, детей не было. А город-то какой? Город не вспоминался. Заныло сердце, затошнило и заложило уши... Чёрт, опять умираю, что ли? Фёдор положил розовую таблетку под язык, по никак не мог прощупать собственный пульс.

– Света! – позвал он тихо на тот случай, если она спит. Если она спит – то пусть спит, а если не спит? – Света!

В проёме двери появилась Светка с томиком Омара Хайяма под мышкой.

– Что случилось? Опять умираешь?

– У меня, по-моему, опять пульс пропал.

– Дай руку...Есть пульс. Это нервы. Один раз чуть не умер – теперь по ночам будешь бояться.

– Ты не девушка, ты – бабушка.

– А меня так и называют на курсе – «Баба Света», угадал, – она улыбнулась

– И как тебе прозвище?

– Нравится. Ну, чего там у тебя? Возврат в прошлое происходит?

– Полным ходом.

– И как, хорошо ты жил?

– Я вспомнил не всё.

– Воровал?

– Да. Увёл женщину у друга.

– Значит, не любила она его. А ещё? Деньги воровал?

– Бизнес – не всегда честное дело. Хочешь быть честным – убьют.

– Ты уклонился от ответа.

– Я на допросе? А ты похожа на следователя, куришь... в тебе много мужского... Спасибо, что не спишь.

– Не за что. Со мной бессонница часто случается. Ты не бойся смерти – не такая уж и страшная штука.

– Откуда ты знаешь?

– Мне кажется, что мы все частично уже мёртвые и находимся там. Часть зрения, часть слуха, часть восприятия мира... поэтому переход не критичен перемена неполная. Об этом мы с отцом часто говорим. Есть очень «живые», переполненные жизнью люди, в них мало любви и им страшно умирать.

– Судя по всему, Светлана Ивановна, вы точно были каким-нибудь старцем, вон у вас даже руки морщинистые.

– Где? – Светка с тревогой посмотрела на свои руки.

– Шучу.

– Ну и шутки у тебя. Хотя мой отец тоже такой же.

– Расскажи мне о брате.

– Антон старше меня на десять лет. Он нянчился со мной. Можно сказать, что я воспитана старшим братом. Наверное, он просил у родителей мальчика, а получилась девочка. Мы дрались, жгли спички, строили пластилиновые города. На чердаке хранился драгоценный мешок его игрушек. Там были солдатики, машинки, даже старая железная дорога, и всё это богатство однажды стало принадлежать мне. «Когда ты уже повзрослеешь?» – всё время спра-

шивал он. А когда я повзрослела, он стал пичкать меня книгами. Он скармливал их мне, как птицы кормят птенцов.

– Много скормил?

– Много. Но ума у меня не прибавилось.

– Вы опасны, Светлана Ивановна. Вы ещё и начитанны.

– Начитанная женщина с морщинистыми руками. Рост средний. Цвет глаз серый. Волосы пепельно-русые, прямые. Черты лица так себе. Размер обуви 37. Размер одежды 44. Такая женщина опасна только сама для себя. Скоро рассвет. Пойду посплю.

– Прочитай мне что-нибудь.

– «Я в мире предпочёл два хлеба да подвал,

Отвергнув мишуру, оковы я порвал,

За нищенство души какую цену дал!..

И в этом нищенстве – каким богатым стал!»

Фёдор проснулся поздно с омерзительным чувством того, что утро потеряно. Дом был пустой. На столе был оставлен завтрак. Он умылся, поел и вышел во двор. В палисаднике цвели лилии, и он ощутил их сильный тревожный запах. Он никогда не любил лилии, но тут внезапно увидел, как они красивы – белоснежный кант обрамлял светло-фиолетовую сердцевину цветов. С возвращением памяти к нему подступала тошнота, душа бродила, и то, что лежало когда-то на дне, вскипало и всплывало вверх, причиняя боль. Одновременно, между омерзением и болью души, раскрывалось зрение. Вероятнее всего, смерть вряд ли оживила бы его. Он бы умер и ничего не понял. Фёдор захотел увидеть людей и пошёл на огород. В поле, овеваемые ветром, склонились две далёкие маленькие женские фигурки. Женщины занимались простым, привычным для них, делом. Рядом с ними проходило чувство ужаса. Почему рядом с женщинами проходит чувство ужаса? Света увидела его – побежала к нему навстречу, и её захотелось подхватить и закружить, как ребёнка. Он тоже рванулся навстречу, но не закружил, не обнял. Светка улыбалась. Это было семейное, они все улыбались именно так.

– Привет, ты, оказывается, ещё на мать похожа.

– Похожа. Выспался?

– Выспался.

– Пошли, поможешь.

– Жуки?

– Нет. Прополка.

– Света, давай я договорюсь с кем-нибудь, и вам всё качественно подрыхлят и прополют.

– Хорошо, но нет времени. Нагибайся, чисть грядки и потей, не даром же тебе столоваться и ночевать.

И Фёдор-Андрей нагибался, чистил грядки и потел, хотя понимал, что мог бы придумать десяток других способов, как это сделать.

В это время Иван Кузьмич запасался провизией в маленьком магазинчике, где продавали хлеб, молоко, кое-какие консервы, печенье, водку, крупу, сигареты и шоколадное масло. Продавщица Вера Никитична была полная, медлительная, крепкая женщина средних лет. Она наводила ужас на многих замужних деревенских женщин. Они часто видели её со своими мужьями в беспокойных снах, в причудливых и страстных любовных позах. То одна, то другая женщина просыпалась ночью в холодном поту и шарила рукой справа или слева, но целёхонький муж был на месте. Чего только не приснится ревнивым женщинам! Сны снами, а магазин всегда был переполнен мужчинами, хотя, торговать в нём, вроде было нечем. На Веру приходили посмотреть, помечтать о ней, так сказать, отдохнуть душой от скорбного быта, печалей, злых болезней и трудов. С каждым Никитична была ласкова, каждому выдавала из-за прилавка не только сигареты и водку, но и незримые флюиды. Флюиды проникали в нос покупа-

телю, и ему сразу становилось хорошо – он чувствовал запах женщины. Вера Никитична была замужем за невзрачным и маленьким мужчиной, который был ниже её ростом, худ, и работал начальником местной сельской управы. Как текла их супружеская жизнь, никто не знал, так как у Веры Никитичны не было подруг и сплетничать было некому. А воображение мужчин рисовало пристойные и непристойные картинки бытия Аркадия и Веры Рукомойниковых. В девичестве Вера имела фамилию Перескокова. Фамилия должна была говорить о некоторой легкомысленности её нрава, но кроме заботы и флюидов, никто и ничем из местных мужчин облагодетельствован не был. Вера была верна своему Аркаше и по сторонам не смотрела. Детей у них не было. Причины бездетности тоже были тайной, так как у Рукомойниковой не было подруг.

– Верка! В ресторан со мной пойдёшь? – зазывно и восторженно ворковал дед Митрофан. Ему было под девяносто, но помирать он не собирался, был подвижен, розовощёк, имел густую белую шевелюру, хитрый глаз и обещал пережить всю деревню.

– Верка! Полтишок мне мой и хлебушка, и ручку поцеловать дай, лебёдушка! – укладывался на прилавок местный пьяница Савелий.

– Верка, Верка, ты – Богиня
Мы с тобой, как гусь с гусыней
Шеи тесно мы сплетём

И как в сказке заживём! – пел очередную частушку бархатистым баритоном, местный поэт Виктор Михайлович Бедов. Он слагал стихи и частушки об урожае, о неурожае, о том, как весело живётся на селе, о том, как грустно живётся на селе, о вольной его, одинокой жизни, о бескрайнем небе, о любви и далёкой звезде. Но добрый том прекрасных произведений был посвящён даме сердца, которую он выбрал сразу же, как увидел. Пять лет назад семья Рукомойниковых прибыла в Малаховку из районного центра, обустроилась, и Вера встала за прилавком на радость и вдохновение всем мужчинам деревни. Была зима, и Бедов бежал в магазин по скользким и замёрзшим дорогам, слагая стихи и ломая конечности. За зиму по неаккуратности, рассеянности и спешке, он умудрился сломать руку и ногу одновременно. Рука была левая, а нога правая, и пока он болел и был малоподвижен, к Бедову, как к Матроне Московской выстраивалась очередь навестить, поговорить и послушать стихи. Пока Бедов был здоров, к нему в дом не ступала нога человека, а тут... с этой любовью и травмами – рекой потёк народ! Шли с едой, с новостями, с желанием помочь и прибраться. За месяц, проведённый Бедовым в постели, дом его превратился в храм искусств и к нему наконец-то пришла слава. Бедов хотел одного, а получил другое, но Господь смотрит в сердце человеческое. К Бедову шли поделиться бедами, погоревать, порадоваться, попеть, почитать свои опусы, так как бездельники, слагающие вдохновенные строки вместо полноценных праведных трудов, всё же имелись. Приходила и Надежда Васильевна с толстой чёрной тетрадкой, в которую она нет-нет, да и писала стих-другой. Бедов плакал, называл Надежду «Учителем» и обещал после выздоровления и освобождения от гипса встать перед ней на колени. Надежда Васильевна называла Витю сыночком, прибирала в доме, стирала занавески и кормила супом. Однажды и сама Рукомойникова посетила поэта. Бедов вспотел от счастья и взлетел над кроватью.

– Я люблю Вас, – сказал Витя, преодолев страх.

– Спасибо, – ответила Вера, – Витечка, но куда же я от Аркаши своего денусь? Он же мне муж! А тебе пора найти себе безмужнюю женщину.

– Сердцу не прикажешь, – ответил Виктор.

– Прикажешь, – ответила Вера и поцеловала его в лоб.

Бедов плакал несколько дней, но стихи и частушки про любимую сочинять не перестал.

Даже батюшка Илларион, священник церкви, что находилась между двумя деревнями, прослышав о посиделках и чтениях у Бедова, решил навеститься к нему, освятить его скромное жильё и почитать труды сердца, которые у него имелись. Илларион вошёл к трепещущему

Виктору и сказал, что до него дошёл слух, что Бедов помирает, и он пришёл соборовать и причастить его на дорожку. Виктор стал отнекиваться и объяснил, что не помирает, просто сломал руку и ногу. На что Илларион возразил, что просто так никто ничего не ломает, всё происходит по воле Божией, и значит, Витя – грешник, и он, батюшка, готов исповедовать его, причастить и освятить жилище. Освятить дом Бедов был согласен, а с грехами расставаться не был готов, так как не знал, сможет ли после такой коренной перемены творить. А писать было сладостно, сильное удовольствие Витя получал от писанины. После ритуала освящения, батюшка присел, открыл случайно захваченный ежедневник и прочитал:

– Всё у меня на месте,

Только сердце одиноко трепещет

Только сердце. – Илларион опустил глаза, потом поднял, и в смущении и растерянности спросил – Как?

– Великолепно! – сказал Бедов.

Батюшка взхлёб, будто боясь, что его остановят, стал читать опус за опусом. Витя понял, что исповедовать его никто не собирается, расслабился, подпёр целой рукой голову и приоткрыл рот. Скоро батюшка выдохся, а Виктор сиял от счастья:

– Коллега! Я вынужден Вам это сказать! Мы собираемся по средам вечером. Если не будете служить в этот день, просим к нам. Вы теперь, батюшка, у нас прописаны.

– Чем вам помочь? – спросил растроганный Илларион.

– Выпейте со мной чаю.

И поэты пили чай с печеньем и пирогами с картошкой, с яйцом и зелёным луком, рассматривали фотографии на стенах, откуда смотрели прадеды, деды, бабушки, сёстры, дяди, тёти, родители, и сам, маленький Витя, пристроенный на коленях у красивого старика в военной форме.

Так, культурные среды «У Бедова» пополнились ещё одним игроком. Скоро поэту сняли гипс и выпустили. Он ходил осторожно, но перед магазином дыхание всё равно учащалось, ноги тоже чистили, и Витя почти бежал, распахивал дверь и обнаруживал одну и ту же картину – гурт мужчин разного возраста, и Веру, совершающую за прилавком колдовские движения, вроде обычные, но сразу погружавшие в транс. Да, она была создана Богом для любви, а была отдана Аркадию, щуплому маленькому мужчине, страдающему ночными страхами, депрессией, сомневающемуся, что ему вообще нужно жить, не ревнующему жену ни к кому, ибо у него проблем и так хватало. До вечера он, благодаря трудам праведным ещё как-то доживал, а дожить до утра без истерик и стонаний было сложно, и даже присутствие большой и тёплой жены не успокаивало его, а наоборот, обостряло одиночество. Вера мамкалась и нянькалась с Аркадием, как с капризным ребёнком. Мысли её часто летали в эмпиреях и мечтах о том, как её Аркадий избавится от маниакальных страхов и станет счастливым, но Аркадий избавлялся от страхов только на работе, а переступая порог дома, опять начинал бояться. Закрыв магазин, Верка скорее летела домой – она знала, что муж уже дома, бледный, одолеваемый тряской и душевной болью, причины для которой, вроде, не было. Всё было у него хорошо. Работа спорилась, дома ждала и хлопотала вокруг красавица-жена. Знал ли Аркадий, сколько мужских сердец разбили эти тёмные глаза, этот грудной голос, эти плавные движения рук и тела? Может быть, смутно, ибо его внимание погружалось куда-то внутрь себя, через себя и дальше, в мир чертей и чудищ, которых он сильно интересовал. После бессонных ночей он приходил на работу уставшим и отсыпался на зелёном диванчике в своём кабинете, закрывшись от всех на ключ. Сослуживцы думали, что ночи Аркадия были полны страсти. Они были полны страсти, но не той. Мечтала ли Вера о другой жизни? Кто знает? Не существует рецептов, которые бы сделали всех счастливыми. Каждому – своё счастье, своя мера греха, терпения, боли, любви и искупления.

Иван Кузьмич купил у Веры Никитичны хлеба, крупы, сахару, три пачки папирос, улыбнулся и спросил, как у той дела. Вера улыбнулась участливо. Так улыбаются женщины, жизнь которых растворилась в других. Они невероятно спокойны, как спортсмены, взвалившие на себя невероятный груз. Иногда их глаза непроизвольно текут, освобождаясь от накопленных слёз. Аркадий мучал и дёргал Веру всё время, наверное, только с грудничками и стариками бывает столько возни, но на работе расцветал, вводил новшества. Открыл небольшую пекарню, чтобы не возить хлеб из района, да и наоборот, хлеба и булочек пекли так много, что экспортировали его в другие деревни и город. Чтобы занять женщин, лицензировал небольшую швейную фабрику, правда фантазия его дальше спецодежды не пошла. В планах у Аркадия было построить грандиозное фермерское хозяйство – коровник, пасеку, свиноферму. Корусти ради, он даже подумывал о лошадях, но для разведения лошадей надо было подкопить денег... Аркадий мечтал, но не только, он шёл к мечтам шагами, не соответствующими его шуплости и малому росту. А дома он болел, искал руку Веры, и ему казалось, что он сходит с ума, но об этом знали только двое – он и она.

– Как ты, Вера? – спросил Иван Кузьмич.

Он, как никто другой, умел сострадать и шутить. Это и было его способом жизни и поведенью. Никто не знал, что творилось за занавеской улыбки Ивана Кузьмича, и какие реальные чувства он испытывал.

– Хорошо, – ответила Вера, и тоже попыталась улыбнуться.

Ивана Кузьмича она особо выделяла из толпы поклонников и фанатов, так как он не был ни поклонником, ни фанатом, но был мужчиной, в обществе которого она чувствовала себя маленькой девочкой. Отца она потеряла рано, и на её руках выросли две младшие сестрички. Мать работала днями, а Верка выросла в тревогах и думах о сёстрах. Аркаша был её одноклассником. Они жили на одной улице, сидели за одной партой и так друг к другу привыкли, что расстаться уже не смогли. С первого по десятый класс они носили кличку «голуби». Из серенькой худенькой голубицы Верка выросла в прекрасного лебедя, а Аркадий так и остался голубем, но проворности и живости ума ему было не занимать. Аркадий не мыслил себя без Веры, а Вера – без Аркадия. «Любовь» – говорили учителя, и с завистью смотрели, на молодых людей, полностью поглощённых друг другом. Любовь...

Вера отвесила Кузьмичу шоколадного масла, отгрузила три серых ароматных кирпичика, четыре булки с корицей, выложила папиросы, выставила две пачки риса, после чего Иван Кузьмич сказал:

– Вера, полнота жизни – вещь относительная, – и попал в цель. Продащица быстро вышла в подсобку и вернулась с заплаканными глазами. – А ты представь, куча детей и все с придурью. А у тебя пока один. Пока один...

Иван Кузьмич никогда никуда не торопился, и у него всегда находилось время выслушать. Пока он слушал – курил и всё время чему-то улыбался, хотя сведения к нему поступали разные, впору бы и заплакать, но Кузьмич не плакал, и неожиданно для собеседников, проблемы их, малые и большие оказывались незначительными... сущими мелочами. Иногда путешествие всего лишь по двум улицам забирало у него час, а то и два.

Он вернулся домой к обеду. Сетка колдовала на кухне над кастрюлей с супом. Фёдор с Надеждой Васильевной ещё не вернулись с огорода. Было жарко и ярко, чисто и звонко, как бывает чисто и звонко в начале лета. Иван Кузьмич выгрузил провизию, кивнул Свете и спросил:

– Что? – и в этом «что», был вопрос о том, что было до, что есть сейчас, о чём болит душа, чем она счастлива, Светка, как ей живётся в этом дне и в предыдущих днях, и как она собирается жить дальше?

– Не знаю, пап, – честно ответила Светка.

- Артёма бросила?
- Бросила.
- Почему?
- Надоел.
- Слава Богу, учиться не бросаешь.
- Только ради тебя.
- Хорошо, что не врешь.
- Мне тоже нравится.
- Остра ты на язык. Какому мужчине это по душе придётся?
- Все раздражаются.
- А не хочешь измениться?
- Нет.
- Что за суп?
- Фасолевый.
- Пахнет вкусно.
- Как тебе Фёдор?
- Не знаю. А тебе?
- Нравится.
- Кстати, он вспомнил.
- Что?
- Что у него есть жена. Он увёл её у друга прямо из-под венца.
- Вспомнил место, откуда он?
- Нет. Пока нет. А вот и они.

С поля возвращались Фёдор и Надежда Васильевна. Они оживлённо разговаривали и не замечали, что на них со двора внимательно смотрят две пары глаз. Жить было больно. Проводить мгновения единения и радости, обнаруживать исчезновение дней.

Илларион искал игольное ушко, чтобы войти в Царствие Божие. Он верил, что если в Святом Писании сказано о прохождении через ушко, то надо было его найти и пройти. Окончив духовную семинарию в Киеве, он женился на молчаливой и грустной Софье Белозёровой, как будто созданной для того, чтобы быть ему подругой и второй его, тихой и светлой частью. Сам же Илларион испросил у Бога задание посложнее, и Тот послал ему храм между двумя деревнями – Малаховкой и Двуречьем. Двух рек ни в селе, ни за селом не было, возможно, были когда-то, а возможно имелись в виду реки времени, летящие навстречу друг другу. Река Киша разделяла две деревни, и была чёткой границей между ними, а без неё деревни слились бы одна с другой и потеряли собственное обличье.

Зимой, накануне Нового года, он отпраздновал своё сорокалетие. Отпраздновал тихо, в кругу семьи, ибо шли дни поста. Круг состоял из двух прелестных голубоглазых дочек двенадцати и семи лет от роду и Сони, разговорить или рассмешить которую порой казалось делом невозможным. Она говорила почти шёпотом, была смиренной и послушной мужу – так её воспитали на радость Иллариону. . . Иногда Иллариону хотелось теплоты и страсти, но он гнал из души эти мысли, часто ему было плохо и тяжело, но он никому об этом не рассказывал, только Богу, но у Бога в эти моменты были, судя по всему, дела поважнее, и стоны о тяжестях Иллариона он не слышал, а может и слышал, но никак не реагировал. Непонятно от чего, но куда-то девались, вытекали его силы. По вечерам Илларион, человек высокого роста, широкоплечий и статный, чувствовал себя дряхлым стариком. Почему-то не спасал пост и упражнения в молитве – Илларион всё равно задыхался и видел Смерть. Она стояла в левой части храма, в углу, закутавшись в синий плащ. Иногда она семенила за ним от храма к дому, но у дома останавливалась, и смотрела вслед тёмным глубоким провалом, из которого блестели звёзды.

Игольное ушко не обнаруживалось. Сорок лет для мужчины – срок для смерти или второго рождения. Всепоглощающей любви к Богу он так и не испытал, наверное, именно поэтому, Тот не слышал его просьб. «Может, я чем-то болен?» – спрашивал себя батюшка, но к врачам не обратился. Он пытался анализировать свою жизнь, искал ошибки. Умирать не хотелось, хотелось самому ощутить хотя бы касательно то, чему он учил прихожан. Но может быть смерть и была тем самым игольным ушком в Царство Божие? «Неужели всё так просто?», – думал Илларион, наблюдая за худенькой фигурой в левой части храма. Для чего тогда даётся опыт жизни? Для чего рождаемся? Чтобы проповедовать о любви, а любовь в себе так и не открыть? Перед рассветом батюшка тщательно перебирал по крупичкам своё прошлое: детство, юность, семинария, женитьба, служение. Кому и чему он служил? Он даже боялся об этом думать. Пожалуй, был на его душе один тяжкий грех: лет десять назад в деревню приехал его брат. Он был бандитом и скрывался от правосудия. Илларион выслушал приехавшего, накормил, дал ночлег, но через сутки объявил, что не может укрывать брата у себя, ибо это противоречит закону и совести, на что Валентин, так звали брата, спросил:

– А что, Илларион, отдашь меня властям, очистишь совесть? А может, всё же замарашься, дашь пожить месяцок?

– Не дам, – ответил Илларион, и Валентин улыбнулся какой-то странной нездешней улыбкой, и ему показалось тогда, что не брат сидит перед ним, но ангела он презирает и не даёт ему убежища, но он отогнал от себя беспокойные мысли и выставил Валентина из дома.

– Хорошо, – сказал брат, – спасибо и за одну ночь. Тебе это зачтётся. Сказал и перекрестился. Да так уверенно, в жесте этом было столько опыта и веры, что у батюшки подкосились ноги. Обниматься не будем, – тихо сказал Валентин, и ушёл навсегда из жизни Иллариона. Он больше не слышал о брате, никогда его не видел, но смутное чувство вины и тоски поселилось внутри и тихо душило, заставляя молиться и исповедоваться во грехе. Не разглядел Илларион в брате своё игольное ушко. С тех пор много воды утекло... Илларион не умел ходить, а делал вид, что летает. Не научился быть счастливым, но предлагал другим ангельский путь. В молитве не достигал успеха и озарения, но никому не говорил об этом, даже Соне. Соня была слаба здоровьем и мужу доверяла полностью. Не привыкшая ничем кичиться и выдвигаться перед другими, выйдя замуж, она полностью растворилась за широкой Илларионовой спиной. За все годы, проведённые рядом, она ни разу не возразила мужу, смотрела ласково, но ему всё время казалось, что она сейчас испарится, отойдёт в другой мир, вернётся в свой истинный дом. Иногда Илларион остро чувствовал одиночество, так как дочери как две капли воды, были похожи на мать, и даже летом в доме батюшка замерзал. Иллариону хотелось тёплых рук, иногда лукавый искушал и внушал похотливые желания женщины, которая бы жаждала его, ибо Сонин ответ в постели был лишь слабым отсветом плотской любви. Батюшка как мог, смирял себя, но однажды он дико крикнул на Соню, потому что он устал, и ему хотелось от неё хоть какого-нибудь чувства. Соня ничего не ответила, её просто вырвало кровью, судя по всему, открылась язва желудка. Скорая увезла женщину в районную больницу, оставив Иллариона в окружении икон и дочерей. Дочери тихо ложились спать, незаметно вставали, накрывали на стол, мыли посуду, готовили уроки, уходили в школу, тихо шептали молитвы. Батюшка тогда впервые испугался себя. Более того, ему впервые захотелось выйти из дома, перекреститься и пойти, куда глаза глядят, шаг за шагом обретая мнимую свободу, он заранее знал, что она мнимая, а может, у него просто опустились руки? Он никому не рассказывал, что он боготворит Зинаиду. Он словом не обмолвился, что он восхищается ею, что в его комнате, кроме икон и распятия, стояли, повёрнутые лицом к стене, доски её руки, и часто он разворачивал их и с упоением подставлял себя солнцу, сияющему там, за яркими красками и наивными сюжетами картин. Он жмурился, как кот в остывающем осеннем луче, и душа его оттаивала. Зато вслух хвастался своей строгостью, епитимьями, накладываемыми на женщину. А у той не было возраста, усталости, горького опыта, цинизма, и она славилась Богом, да так, что ему, Божьему слу-

жителю и не снилось, а может и снилось, в лучших его, нечаянных снах. Он писал светские стихи. Стихи помогали. В них он не был священником, но был просто человеком, страдающим, полным слабости, сомнений и неуверенности в себе. По средам к Бедову он приходил в гражданском костюме, забивался в самый дальний угол комнаты, положив на колени блокнот, и затерявшись, успокоившись, начинал внимать и улыбаться, а когда доходила очередь до прочтения, смущался, но читал, и частенько стихи были удачные и проникновенные.

В районной больнице, куда увезли Соню, во время гастроскопии, женщину держал за руку лечащий врач. Соне было плохо. Изображение в глазах плыло, в рот был вставлен отвратительный пластмассовый мундштук, но выразительные глаза врача говорили: «Сопровствляйся. Живи. У тебя всё впереди. Ты можешь. Ты сильная. Я тебе помогу» Потом всё схлынуло, боли и слабость, а взгляд остался, и действием этого взгляда всегда оказывались слёзы. Впервые она заплакала на ужасной процедуре, потом плакала, когда Валерий Петрович приходил на осмотр и разговаривал с ней, а потом Соня плакала при любом воспоминании о лечащем враче. Возможно, это была простая страсть, внезапно вспыхнувшая в её, никогда не испытывающей сильных чувств, душе, но она взялась ниоткуда и роковым образом, как снежный ком, ожидающий не любого прохожего, а только одного единственного, выбранного заранее. Соня смотрела в окно, но вместо неба видела Валерия Петровича. Везде, в каждом кубике пространства обитал Валерий Петрович, она видела только его и быстро выздоравливала. Язва зарубцевалась за две недели и эти две недели были полным, сумасшедшим, самозабвенным и всепоглощающим созерцанием Валерия Петровича. Сам Валерий Петрович тоже не понимал, что происходит с ним, и чем эта бледная и тощая женщина так взволновала его? И почему ему хочется войти в её палату, взять её на руки, и так, с женщиной на руках идти по больничным коридорам и входить ко всем остальным пациентам? У неё всё было светлым – волосы, глаза, кожа, брови, ресницы. До болезни она не обнаруживала себя в зеркале, а тут вдруг увидела: тонкий нос, правильно очерченные губы, высокий лоб, тонкая кость в фигуре. Хорошо ли это? Ой, как нехорошо.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.